

Виктор
СОСНОВА

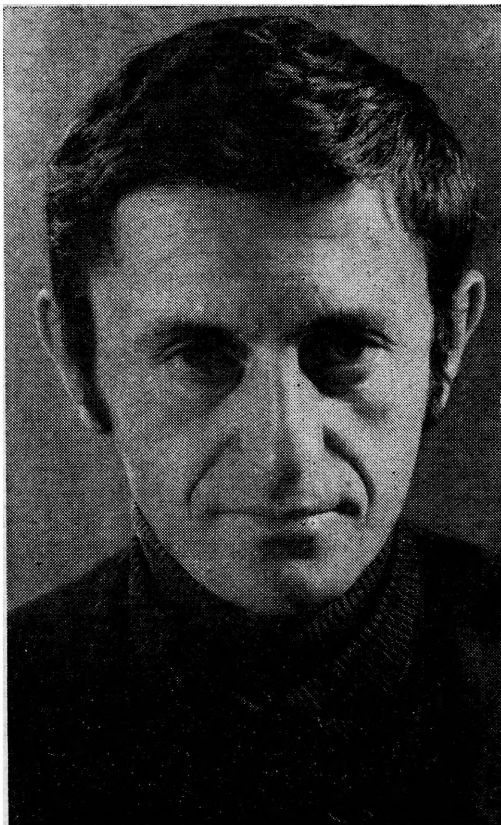


Ц

Виктор
СОСНОРА

КРИСТАЛ





Виктор
СОСНОВА

КРИСТАЛЛ



СТИХИ

Советский писатель · Ленинградское отделение · 1977

P 2
С 66

В новую книгу Виктора Сосноры
включены стихи последних лет.

© Издательство «Советский писатель», 1977 г.

С $\frac{70402-055}{083(02)-77}$ 179-77

* * *

Кристалл любви, кристалл надежды,
медаль ста солнц, метель ста вьюг!
Не удален и не удержан,
сам удалился и стою.

Стою над пропастью. Два грифа
летают. Море — в небесах.
О волны, кружевная гибель! —
вас не воспеть, не написать.

Кристалл любви, кристалл забвенья,
молитва колокольных лбов!
Над пропастью луна забрезжит,
клубится солнце, как любовь.

Стою с бокалом. И не брошусь.
Стою вне Вас, бокал — за Вас!
Я пью вино — золотую бронзу, —
и счастлив мой глагол и глас!

Пой песню! В этом песнопенье
лишь голос горечи без нот.
Над нами тучи переспели,
дождь оживительный блеснет!

Стою. Блеснет да в пропасть канет
и сердца страх, и тишь в крови. . .
Кристалл времен, кристалл дыханья,
твердыня жизни и любви!

ЛЕГЕНДА ЛАДОГИ

*(Четыре фрагмента
из поэмы «Хроника Ладogi»)*

1

Над Ладогой
на длинном стебле расцветает солнце.
Озеро
не ораторствует, оно только цитирует маленькие
волны — одни
похожи на маленькие купола,
другие —
на маленькие колокола.
На берегу валуны
сверкают, как маяки.
Тюлени
плавают в недрах влаги, торпедируя сети:
они отъедают головы сладким сигам,
а туловища оставляют.
Иногда
эта операция увенчивается триумфом тюленей,
иногда
результаты ее плачевны:
рыбаки вынимают тюленей одновременно с рыбой.

И сегодня
в миниатюрный мир,
где паркет обстоятельно паманикюрен,
обои абстрактны,
а небо выбелено, как бумага,
а под небом витает сова —
оперенный большой
абажур, —
и очи совы безразличны,
в вашу комнату, где она —
спящая птица
с загорелым на Юге крылом
(а конец у крыла пятипал,
он лежит под щекой,
и вздыхает щека над черно-белыми снами,
а второе крыло распрямлено,
и мизинец крыла поцарапывает одеяло),
где она —
Спящая Красавица,
где ты —
Семь Братьев
(один «ты»
репетирует шариковый карандаш,
а шарик — не абсолютный шар,
он приплюснут на полюсах от репетиций,
как портативный Земной Шар;
второй «ты»
прикуривает сигарету,
для него нехарактерно прикуривать от
элементарной спички:
он зажег злоязычную спичку,

потом аккуратно зажег фотопленку
и прикуривает от фотопленки;
третий «ты»
наблюдает,
как пылают узкие листья газа,
и на фоне пыланья
эмалированный контур кастрюли,
в которой
в результате проникновенья молекул воды
и пара

в молекулы
кипящей капусты,
перловой крупы
и бараньей ноги с мозговой костью
образуется новый химический элемент
(несправедливо им пренебрег Менделеев!) —
щи с бараниной;
остальные четыре «ты»
рядышком, как высоковольтные воробьи,
обсуждают международную ситуацию Кипра
и что Яшин такой же фатальный вратарь,
как Ботвинник — чемпион мира по шахматам),
в общем:

в комнате вашей царит современность
и внутренний мир преобладает,
а ты:

Художник
в сомнамбулической стадии «творческого
процесса»

испещряешь страницы
злободневными фразами изъяснительного
наклоненья,
а страницы — немые,

потому что на самом деле ты — спишь,
а страницы не осуществлены,
как вырезанные,
но не вставленные в окна стекла
(а за стеклами окон —
окончательно черное небо,
в нем ни щели,
ни иголочного прокола,
окончательно черное небо
с еще более черными кляксами туч
и ломаными линиями молний,
числом — без числа,
а за стеклами окон — пять рыбаков,
пять брезентовых многоугольных фигур
на границе воды и суши,
поджимая студень, посинелые губы, —
их лица небриты,
на каждом несбритом волоске лица
капелька пота, —
пять брезентовых рыбаков,
манипулируя волосатыми сверкающими руками,
промывают солярккой мотор;
их лица не предвещают улыбок);
и сегодня в вашу комнату, где она и
где ты, погрузилась внезапно одна из
утренних молний, и никто не подумал,
что молния — аллегорична, ибо знали
два века: это явление природы;
может быть, перепутала молния вашу
комнату и моторную лодку с рыбаками? —
так погрузилась она,
представительница мира молний,
и конструкция вашего мира распалась,

как стихотворенье,
из которого вынули первую строчку;
лишь мерцал треугольный кусочек
выбеленного неба,
он, кусочек, упал на кучу навоза,
на кучу,

которую вы

из отглянцованного окна

демонстративно не замечали,

однако она существовала,
невзирая на ваши

усложненные, катастрофические переживанья,
и на куче навоза два петуха,
разодетые в перья первомайского неба, —
два петуха

лихорадочно,

но и величаво сражались:

тот, кто победит,

извлечет жемчужину

из пучины навоза;

и мычали, мычали коровы в хлевах,
и по-утреннему неодетые люди
закрывали марлей открытые на ночь окна...

Слушай:

да не минуют нас беды,
да не минует нас мир,

наименованный «мир молний»,

конструкция ваша распалась,
убежали

Семь напуганных Братьев,
их пятки сверкали,

как фонарики пограничной охраны,

слушай и просыпайся, отвлекись на секунду
от своих сновидений, —

а над зеленой землей,
пропитанной миллионами молний,
вырисовываются березы,
их стебли сиреневаты,
а над зеленой землей раздается
большое дыханье
животного мира!

СЛУШАЙ!

Это с сосуллек вдруг побледневшего неба
Вдруг соскользнули первые капли, величиной
с туловище человека.
Это падают с неба глаголы, пылая, как
металлические метеоры.
Это поют петухи замерзающими голосами.

Если первый петух пропоет и ты не проснешься,
Если второй петух пропоет и ты не проснешься,
Если третий петух пропоет и ты не проснешься, —
Ты не проснешься уже. Это — возмездье, Художник.

Ты, презиравший прогнозы вечного неба,
Вообразил: умно лавируя в мире молний,
Вообразил: подменяя слова предисловьем,
Вообразил: до беспредельности допустимо
существовать, не пылая —
фосфоресцируя время от времени в мире молний?!

По Староладожскому каналу происходил сенокос.
Колокольчики —

маленькие поднебесные люстры —
излучали оттенки неба.

Скакали кузнечики.

Величиной и звучаньем они приближались

к секундам,

ползали пчелы — миниатюрные зебры на крыльях.

На васильки

жар возлагал дрему.

Лютики

созерцали сенокос,

и не моргали их ослепительно желтые очи.

Бледноволосые женщины

травы июля свергали.

В медленном небе

сверкали, как белые молнии, косы!

Шел сенокос...

Только никто не увидел

(кто увидел — не обратил вниманья),

как восемнадцать часов оккупировали деревню,

как наводнили часы тишину

и разожгли восемнадцать сторожевых костров-

невидимок.

Это часы доили коров,

придерживая за костяные короны.

Это часы
обогащали клубни и злаки,
это часы
поворачивали то один, то другой
выключатель.

Это часы
около бани кололи лучину.
Это они, восемнадцать часов,
колебали младенческие коляски.

Это уже,
озаренное озеро переплывая,
салютовал девятнадцатый час,
и ногти его поблескивали,
как линзы биноклей.

Это уже за каналом маячил двадцатый.
А
был
он Художник.

Он современность перебирал,
превозмогая помарки.
Медленно двигалась стрелка пера
по циферблату бумаги.

* * *

Художник пробовал перо,
как часовой границы — пломбу,
как птица южная — полет! . .
А я твердил тебе: не пробуй,

избавь себя от «завершенья
сюжетов», «поисков себя»,
избавь себя от «совершенства»,
от братьев почерка избавь!

Художник пробовал. . . как плач —
новорожденный, тренер — бицепс,
как пробует топор палач
и револьвер самоубийца!

А я твердил тебе: осмелся
не «пробовать» — взглянуть в глаза
неотвратимому возмездью
за словоблудье, славу, за

уставы, идолопоклонство
усидчивым карандашам. . .
А требовалось так немного:
всего-то навсего — дышать. . .

БАЛТИЙСКОЕ УТРО

Кто утром увидел море —
толпища какой-то пятой
голубой расы
(их волосы веселились!),

кто утром увидел чаек,
как они стояли
на валунах из меди и мела —
как статуэтки
из датского фарфора
на ножках —
красных камышинках,

кто утром увидел дюны,
пропитанные соком
песчаного меда,
а на дюнах улитки —
крохотные козочки
в древнеримских касках —

и еще моллюски —
мертвые очи моря,
распахнутые веки
раковин из перламутра,

кто утром увидел сосны
в китайских кружевах
просыпающейся хвои,
их золотые столбы —
как символы солнца,

кто утром увидел белок —
космические пляски
на крылышках пушистых,
а шишки в объятьях лапок —
скипетры их маленьких
величеств...

Море замерзнет солью,
дюны распустят песчинки,
улитки и моллюски
вернутся в свои века, —

а кто не утратил утра,
умрет — все равно воскреснет!

.

У МОРЯ

О море, море. В бумажных листьях.
В кружочках рыб.
Лишь красный гром на горизонте, —
там солнце в образе Горгоны
с двумя глазами без ресниц,
а на губах вода волны.
Сентябрь.

Ну что ж, стихия. Слезы птиц
по морю, как следы Ахилла.
Где водолазы-аргонавты,
твои хваленые Харибды,
те триста — в шлемах Геллеспонта?
Вот я. Глаза в глаза Горгоны
и, как сказать? — не каменею,
пью языком волну воды.
Лишь — сентябрь.

О небо, небо. Лучик-ключик
устал, упал и утонул,
и чайки машут так двумя крылами,
как листьями кленовыми. Горгона
двуглазое страшилище, но — мать
Пегаса. . . Небо — гневный миф
Беллерофонта, горе-кифареда:

был сын богов, любил, мечтал о чем-то.
Но взял Пегаса. Но Пегас, почуяв,
что он оседлан и уже в узде,
чуть-чуть захлопнул золотые крылья, —
мальчишку сбросил в море. Умер он.
(А море обливалось облаками!)
Лишь буква-миф о нем на горизонте
чуть-чуть читался.

И мертвые глаза
мифического кифареда
клевали чайки. И вода всех волн
бежала в сентябре и убежала,
как конница. . . Сентябрь, я говорю.

Не забывай: на море — небо.
Но раковины ли? А может, маски
тех мореплавателей детства,
где листья молний и плоды цветов
грядущих государств?
где, может быть, витает голова
Беллерофонта. где? на горизонте?
а может, в грезах? и еще спасти
его возможно? . . . Только — ни к чему.
Лишь встрепенутся веки — оседлает
Пегаса. И уздой завяжет зубы.
И пальцы — в кровь кифары. Вздогнут

крылья, —

и снова будет сброшен. И умрет.
И это все случится и сейчас.
В любой сентябрь.

У моря моря в листьях листьях
однажды выйдет из волны воды

твой Конь (я повторяю — сын Горгоны!),
не голубь — он крылами не охватит,
не корифей — и что ему кифара,
он станет так: глаза в глаза.
И ты уже не кифаред, а камень.
А что ему. Уйдет, как и пришел,
в утробу матери. И голова Горгоны
взойдет грозой над горизонтом,
двуглазая. Чтоб знало все живое,
на что идет, что ищет,
играя в игры крыльев и кифар.

ОТЪЕЗД СО ВЗМОРЬЯ

Плакать не надо, Вы, — будем как чайки Египта...
Мысли мои несмышленыши — мне вас не додумать.
Надежды мои необитаемые — ни в небе.

Спите, о спите, свирели, как звери, — эхо ваше
замерзло.

Женщина, Вы — о любовь детского Донжуана!..

Чайки, все чайки. И море в мокрой сутане.

Солнце соленое ползает, щеки щекочет,
или это кровинки моря мои?

Туман. Знак знакомый луны в океане.

Теплая тень сосны на песке последней в пустыне.

Плакать не надо, Вы, — это лицо мое на дне бокала
в той кровинке вина морской, скоморошьей.

Туман — бег белый коня в копытах.

Минет и третий звонок... Где же четвертый?

Плакать не надо, женщина, Вы, мы оба — только
объятья... .

* * *

Солнце знает свой запад.
Луна знает свои приливы.
Муравей знает свое завтра.
Цапля знает своих цыплят.

Все знают: солнце — небесное тело,
луна — карманное зеркальце солнца,
муравей — карликовое животное,
у цапли — одна, её свойственная нога.

* * *

Все прошло. Так тихо на душе:
ни цветка, ни даже ветерка,
нет ни глаз моих, и нет ушей,
сердце — твердым знаком вертикаль.

Потому причастья не прошу,
хлеба-соли. Оттанцован бал.
Этот эпос наш не я пишу.
Не шипит мой пенистый бокал.

Хлебом вскормлен, солнцем осолен
майский мир. И самолетных стай
улетанье с гулом... о, старо!
и ни просьб, ни правды, и — прощай.

Сами судьбы — страшные суды,
мы — две чайки в мареве морей.
Буду буквица и знак звезды
небосклона памяти твоей.

* * *

Я вас любил. Любовь еще — быть может.
Но ей не быть.
Лишь конский топ на эхо нас помножит
да волчья сыть.

Ты кинь коня и волка приласкаешь...
Но ты — не та.
Плывет твой конь к тебе под парусами,
там — пустота.

Взовьется в звон мой волк — с клыками мячик
к тебе, но ты
уходишь в дебри девочек и мачех
моей мечты.

Труднее жить, моя, бороться проще,
я не борюсь.
Ударит колокол грозы, пророчеств, —
я не боюсь.

ни смерти, ни твоей бессмертной славы, —
звезду возжечь!
хоть коне-волк у смертницы-заставы,
хоть — в ад возлечь!

Проклятий — нет, и нежность — не поможет,
я кровь ковал:
Я — вас любил. Любовь — еще быть может...
не вас, не к вам.

СЛЕЗА В ЛЕСУ

Птенец упал, а он бескрыл. Грустит гнездо.
Но он оправился, пошел и клювом заклевал.
И червь земли к нему пополз. Комар его кормил.
Созреют косточки твои, птенец. Взойдешь
в надмирный воздух, как душа пера.
Все в завтра: бой-любовь и кровь-хлеба,
снега и солнца, — то есть жизнь...
Конец июня. Конница стоит
кузнечиков. Бел земляничный плод.
Во тьме земли уже грядут грибы.
Листву листают пальцем дерева.
Светла роса, как лунная. Во мхах
лягушки лают немо паукам...
А муха? Вот летит, шумит как шар.
Куда она? То теменем в зенит,
то прячется пружинкой, где темней.
Что думает она? Что — без гнезда?
Что век — одна? Что — только стоя спит?
И я не знаю. Тише, твари, вы,
Земли и Неба... кто-то там идет...
Еще я видел, как по лесу шла слеза.
Кто выплакал ее? Кто в лес впустил?
Как женщина она обнажена и босиком. Она
светилась, как глаза. Но испарялось все ее лицо.
А тело извивалось в ужасе, что — смерть.

Ес-то кто-то заплакал, а ей
заплакать — как? Ведь нету у нее второй
слезы, чтоб на тропинку обронить!..
Пока я шел, она уже пропала. Я
пошел по лесу вверх, чуть-чуть качая головой:
зачем под солнцем шла она? ведь солнце — яд.

ВЕЧЕР В ЛЕСУ

В муравейнике труд муравьиных семей.
Сон летает за эхом.
Кто? кукушка живет или сам соловей
в хитром храмике этом?

О каком композиторе-чудаке
плачет флейта-комарик?
«Мяу» кошки на чьем-то ничьем чердаке,
и не снятся кошмары.

Только с некоторых мне мерещатся пор
журавлиные гусли,
как хорош этот не человеческий хор
этих грешников грусти.

Наши быстрые буквы — мир неживой:
сколько лавров и терний!
Ничего не осталось у нас, ничего —
и ни тем, и ни тени.

Наши буквы — бой петушиных корон,
ни сомнений, ни солнца.
Лишь летучие мыши мигают крылом.
Да свинцовые совы.

Так случается: лопнул огромный орех —
лишь скорлупка-пустышка.

Кто-то в мае аукнул, а лишь в январе
кто-то отклик услышал.

В озерцах у озер камышинки-камыш.

И с гримасами мимов
смотрят рыбы... А ты, паучонок, кружишь
в нашем шарике мыльном.

Солнце село. И цвет у небес нефтяной.

Что бормочет береза?..

Затаился. Не страшно тебе? Ничего, —
вот и сердце не бьется...

БЕССМЕРТЬЕ В ТУМАНЕ

Радужные в тумане мыльные пузыри — фонари.

Спичку зажжешь к сигарете — всюду вода, лишь
язычок в трех пальцах — звезда.

Тикают по циферблатам цикады... пусть их, их цель...
Пульс и капель!

В небе — нет неба. Август арктический, или
оптический очи-обман?.. Ночь и туман.

Хор или ноль?.. Ходит, как нож с лезвием чей-то
ничей человек. Целый век.

Ходит, складной (с кляпом? каникулы?), и никак
самого себя не сложить.

(Как в слезах! Как в глазах!) Стало жить
невмоготу... .

Но наготу ни лезвия не боится и что ему чьи-то
«нельзя», но не готов ноготок.

Как научился (на «у» или «числа»?) так не уметь —
не умереть?

Или надеется, знает (незнаемый!) все про любовь...
и кровь? .. И... — вновь?

Или бессмертье — больше близ смерти? ..
...Голос мой! Логос мой!

ДВОЕ

Картофель цвел. На огурцах
значки. Снегурочка — овца.
У мух — толпа и масса.
Темнело. Меч или весло?
Ромашка или василек?
Трава — в чернилах масла.

На озере вода видна
волшебная. Над ней луна
с узорами. Темнело.
Купались двое нагишом,
но было им нехорошо,
и кашляли. . . Телега

шла с лошадьёю, — там был закат.
Малинник в молодых звонках. . .
И нет как нет заката.
Те двое — мускулы, загар —
листали озеро захват,
сливались, — вот загадка.

Над ними ныла мышь-вампир.
А ворон в воздухе вопил
и выл о чьей-то смерти.

Я пил вечерний свой сосуд. . .
Спасти от смерти — все спасут,
от жизни — кто сумеет?

Дрожал, как дождик на весу,
хор комаров. Не обнесут
водой волшебной хутор.
И капать мне день ото дня
пусть каплей, но одной. Двумя
и слившимися — хуже.

Нажрался жертвами паук.
Те двое отряхнули пух,
он с нею расставался.
Да дятла детективный стук,
да винных вишен красный звук
над розой раздавался.

И столько тел и столько лет
шумели мухи на стекле
и лампочки ковали.
Над буквами моей орды
летали комары-орлы
и клювами клевали!

УТРО

Думаешь, день занимался с зари? Думай, думай!
Из Каракум прилетел комар и кулаком хватил

в окошко.

Встал я из-под одеял и кулаком комара по морде

убил.

Как он упал! Как он лежал! —

в брюхе бурлила кровь, лапы лохматы, и с клювом,
как аист,

с чьей-то мечтой ледяной на челе, — как мертвец!

Да, смерть не шуточки утречком, это тебе не жизнь!

Лишь после этого ночь утратила сон и день —

занимался.

В воздухе, как в океане окна, петляли пять

самолетов,

с телом, как Суламифь, — один, и ревели — четыре.

Солнце повисло вниз головой, как мак неслепящий.

Пахло жасмином или навозом, — так, запах как запах.

Шумели листы ботвы картофеля, а понемножку

между кустами шли — кто куда — две старухи.

Первая — волосы-пар, в кофточке вязи, с косой

из железа, — как смерть.

Бок о бок с ней вторая: в юбке, как зонтик,

вела на цепи овец розоворунных

(клевер, щавель, колокольчики, лютики, травки!).

«Мама!» — вопили овцы, — «мама!» А пели:

пой-петушок-гребешок, семь соловьев и комарик
(не тот, не мертвец!).
Видишь Восход: там стоял камень-валун, белый,
как с хоботом слон.
Там по шоссе веселились велосипеды,
вместо колес — монеты серебряными рублями.
А под окошком моим у колодца-болотца стояло
моих два уха,
два часовых в красных касках и с автоматами:
«Слушай, о слушай!» —
ибо писал я письмо Тебе, и мешала машинка.
А вон за тем облаком в белом — там
спрятались в каплях моих два глаза,
в чудо-бинокли глядя в Москву — в твои глаза,
ибо писал я письмо Тебе, только для двух пар глаз —
наших.
А над машинкой (мешала машинка!) уста мои были —
немость,
чтоб не раскрыться не вовремя, чтоб не лгать.
Лишь торопились пальцы мои, но пальцы лишь
буквицы выбивали,
не было в буквах ушей моих, глаз моих, губ,
пальцев моих пульсирующих (о, мешала
машинка!), —
черная путаница алфавита на белом...
Ибо писал я письмо Тебе, а оно — лишь письмо,
любое.

ПИСЬМА ТЕБЕ

(Вариации)

1

Лист желтый на небе не желтом,
но и не синем.

Иголки с блеском у елей, а паутина —
как пена.

Воздух воздушен, и где-то там плачут
пчелы.

Вот ветерок и листья еще
пролетели

(помни полет стрекозы и ее кружевца —
крылья).

Солнце все засекает солнечным
цветом.

Вот я уйду во время луны
в небе.

Запах звериный, но из зверей
лишь я
не вою.

В этом лесу я как с тобой, но ты —
где ты?

Хоть бы оставила боль, но и боль —
былая.

И, запрокидывая лицо свое
к небу,

я говорю: ничего без тебя
мне нету.

2

Зелень цветная, блеск бледнокожих,
лебедь Египта,

мед молока — теплое тело,
нежные ноги,

челка на лбу — иннок и конь! —
волосы власти!

кисти твои не расплести —
так расплескались,

губы твои не целовать —
замкнуты знаком,

не обнимать хладных колен —
окольцевали,

и на спине спящей твоей
нет мне ладони.

Спи, человек мой голубой,
девочка дочки,

в майской Москве, в доме для нас
нет ни паркетки,

спи, ибо ты ночью ничья,
даже в объятях.

Я по лесам, по чудесам
с кепкой скитаюсь,

снова смеюсь и сам про себя
песенку вою:

«Но
он
сел
в
лес
и
пил
лип
сок. . .»

Стал я так тих и не влюблен,
в буквы играю,

птица ль заплачет — я замолчу, —
зверь ли завоюет.

Я не приду, я не приснюсь
вовсе ни разу,

но и тебе (клятва!) живой
боль не позволю.

3

Я говорю: ничего без тебя
мне нету.

Я говорю, а ты не услышь
мой шепот,
может, последний в светлом лесу
воплъ волчий,
все-таки мало, милая, нам
ласк леса.

Волк запрятался в лист, во тьму, —
знак смерти.

Рыбы режут немо. В водах
всхлип, всплески.

Жаворонок задохнулся и не
спас сердце.

Храбрая будь, хороший мой пес,
мой? чей ли?

Заперли в дом, двери на цепь, —
лай, что ли?!

В окна бинокль, а телефон —
хор Хама.

Все на коленях — в клятвах, в слезах!
О, овны!
Ты им не верь, ведь все равно
цель — цепью!

Ты так тиха. Шею твою —
в ошейник!
Лишь в полуснах-кошмарах твоих
бред бунта.
Будь же для всех бледной бедой,
бей болью,
грешная будь, нелающий мой,
мой майский!

Я ли не мудр: знаю язык:
карк врана,
я ли не храбр: перебегу
ход рака...
Все я солгал. В этом лесу
пусть плохо,
но не узнай, и вспоминать
не надо.

4

Вот я уйду во время луны
в небе.
Наших ночей нет. И ничто —
время.
Наша любовь — холод и хлеб
страсти
в жизни без жертв, — как поцелуй
детства.

Вот муравей — храбрый малыш
мира,
вишенкой он бегаёт по
веку.
Что для него волк-великан-
демон,
росы в крови, музыка трав
Трои?

В небе ни зги нет. Деревя
тени
порастеряли, или и их —
в тюрьмы?
В нашей тюрьме только зигзиц
числа,
«стой, кто идёт? — выстрел и вопль! —
ты ли?»

Только — не ты! Я умолю
утро,
голову глаз выдам своих
небу,
я для себя сам отыщу
очи...
Не умирай в тюрьмах моих
сердца!

5

Спи, ибо ты ночью ничья,
даже в объятьях.

Пусть на спине спящей твоей
нет мне ладони.

Но я приснюсь только тебе,
даже отсюда.

Но я проснусь рядом с тобой
завтра и утром.

Небо сейчас лишь для двоих
в знаках заката.

Ели в мехах, овцы поют,
красноволосы.

Хутор мой храбр, в паучьих цепях,
худ он и болен.

Мой, но не мой. Вся моя жизнь —
чей-то там хутор.

В венах вино. А голова —
волосы в совах.

Ты так тиха, — вешайся, вой! —
вот я и вою.

Хутора, небо, хранитель от правд, —
правда — предательств!

Правда — проклятье! С бредом берез
я просыпаюсь.

Возговори, заря для зверья, —
толпища буквиц!

Небо, отдай моление мое
Женщине, ей же! —

тело твое — топленая тьма,
в клиньях колени,

кисти твои втрое мертвы,
пятиконечны,

голос столиц твоего языка —
красен и в язвах,

я исцелил мир, но тебе
нет ни знаменья.

Жено, отыдь ты от меня, —
не исцеляю!

ЭТОТ ЭПИЛОГ

Слушай! я говорю — горе! — себя кляня
в тридцать седьмой год от рожденья меня

благодарю вас, что и в любви — была.
Смейся! мой смертный час — не берегла.

О, пустяк! предоставь мне самому мой крах.
Я, прости, перестал в этой любви в веках.

Мантию не менял. Пусть постоянен трон:
эта любовь — моя, и не твоя, не тронь.

Минет моление утр. Вы подарили раз
много-много минут. Благодарю вас.

Млечных морей слеза не просочится в миф.
Благодарю за — ваш, любимая, мир:

ваш — соломенный клад, плавающий на плаву,
ваш — без звезд и без клятв, ваш — лишь наяву,

ваш — вечный вертел, поровну — твердь и сушь,
ваша телесность тел, одушевленность душ.

Кто я? — паяц, бурлак, воин, монах, король? —
что вам! а боль — была. Благодарю боль.

На море вензеля. Песок утопан, как воск.
Ваш, египтянка, взгляд, взлет ваших волос,

лунная леность лиц, ваших волос сирень,
рой ваших ресниц или сердца секрет. . .

Над взморьем звезда Пса. О спите, судьбу моля,
чтоб в тридцать седьмой год — от рожденья
меня —

не опустить так — голову ниже плеч.
Боже — моя мечта! — но и мечта — меч.

Как золота земля, ходит в воде волна,
биться былинкой зла, шляться в венце вина,

волком звезде завять, смерть свою торопя,
плакать, тебя забыть и — не любить тебя!

* * *

Я тебя отворю у всех семей, у всех невест.
Аполлону — коровы, мясá, а я — Гермес.

Аполлону — тирсы и стрелы, а я — сатир,
он — светящийся в солнце, а я — светлячком
светил.

Я тебя (о, двое нас, что до них — остальных!).
Я тебя отвою во всех восстаньях своих.

Я тобой отворю все уста моей молвы.
Я тебя отреву на всех площадях Москвы.

Он творил руками тебя, а я — рукокрыл.
Он трудился мильоны раз, а я в семь дней
сотворил.

Он — стражник жизни с серебряным топором.
Он — жизнь сама, а я — бессмертье твое.

Я тебя от рая (убежища нет!) уберегу.
Я тебя отправлю в века и убегу.

Я тебе ответил. В свидетели — весь свет.
Я тебе отверил. И нашего неба — нет.

Нет ни лун, ни злата, ни тиканья и ни мук.
Мне — молчать, как лунь, или мычать, как мул.

Эти буквицы боли — твои семена,
их расставлю и растравлю и — хватит с меня!

МУЗА МОЯ — ДОЧЬ МИДАСА

Вот мы вдвоем с тобой, Муза,
мы — вдовы.
Вдовы наш хлеб, любовь, бытие, —
бьют склянки!
В дождик музыки, вин, пуль,
слов славы
мы босиком — вот! — Вам! —
бег к богу.

Музу мою спаси, Дионис,
дочь Мидаса,
ты отними у нас навек
звук арфы,
он обращает ноты надежд
в звук злата,
это богатство отдай богачам —
пусть пляшут!

Был на скатерти хлеб зерна, —
в золото мякиш!
Я целовал ее лицо, —
вот вам маска!

Жизнь зажигала звезды, — о нет! —
хлад металла!
Вы восклицали: богат, как бог!
Где благо?

Что мне фрукт Гесперид! Как прост
хлеб соли!
Грешницы где же? Тепло тел,
не статуй!
Дай не «аминь» во веки веков, —
пульс часа,
крови кровинку, воздуха вздох,
труд утра!

* * *

Обман ли, нет ли — музыка мала.
Мерзавки Музы! Я люблю любить.
Моя! Ты, знаю, знаешь, что моя
профессия (как все бывало!) быть

обманутым. Ах ты, пальба-гульба!
Что в прошлом у тебя — с моей совой!
Мой смех на мерзло-мертвенных губах
и голубых — так до смешного мой.

Так до смешного, так мне жаль ее
с реченьями «люблю» и «не судьба».
Вы, женщина, вы — жалкое жилье,
не любящее даже ни себя.

Сосцы целуя или же персты,
я только тело ваше воровал.
Сказать «прости»? Я говорю: «Прости».
Я говорю вам, но не верю вам.

И если я люблю или зову —
но не свою жизнью угостить.
Востока мудрость: «Ты люби змею,
но знай — она умеет укусить».

Ты — гостя всех, а я — ироник мук.
Надежды наши — нежность и союз!
Мы оба обманулись. Потому
так не до смеха. Потому — смеюсь.

* * *

Ты, близлежащий, женщина, ты враг
ближайший. Ты моя окаменелость.
Ау, мой милый! — всесторонних благ
и в «до свиданья» — веточку омелы!

За ласки тел, целуемых впотьмах,
за лапки лис, за журавлиный лепет,
за балаганы слез, бубновый крах,
иллюзии твои, притворный трепет, —

ау, мой мститель! Мастер мук, ау!
Все наши антарктиды и сахара —
ау! Листаю новую главу
и новым ядом — новые стаканы!

За ладан лжи, за олимпийский стикс,
за ватерлоо! за отмену хартий!
за молнии — в меня! О, отступись,
оставь меня, все — хорошо, и — хватит.

Змеинный звон! — за землю всех невест
моих и не моих еще, — пью чашу,
цикуту слез! Я не боюсь небес,
их гнев — лишь ласка ненависти нашей.

Униженный и в ужасе с утра,
как скоморох на жердочке оваций...
О, отступись, еще дрожит струна,
не дай и ей, последней, оборваться.

НОЧЬ О ТЕБЕ

Звезда моя, происхождением — Пса,
лакала млеко пастью из бутылки.
И лун в окошке — нуль. Я не писал.
Я пил стакан. И мысли не будили. . .

о вас. . . Я не венчал. Не развенчал.
Я вас любил. И разлюбить — что толку!
Не очарован был, и разочарований нет. Я выдумал вас. Только.

Творец Тебя, я пью стакан плодов
творенья! Ты — обман, я — брат обмана.
Долгов взаимных нет, и нет продолженных ни «аллилуйя», ни «осанна»!

Я не писал. Те в прошлом — письма!
Целуй любые лбы, ходи, как ходишь.
Ты где-то есть, но где-то без меня
и где-то — нет тебя. Теперь — как хочешь.

Там на морях в огне вода валов.
(Тушил морями! Где двузначность наша?)
И в водах — человеческих голов
купанье поплавковое. . . Не надо.

А здесь — упал комар в чернильницу, — полет
из Космоса — в мою простую урну.
Господь с тобой, гость поздний. Поклюем
в чернилах кровь и поклянемся утру.

ПОСЛЕ

Теперь от вас — воспоминанье,
вас — поминанье:

Графин и грусть. Головка лампы.
Лучей заката карусели.
Луной без солнца пахнет ландыш.
Клюют лягушку коростели.

С дрожащей шпагой Дон-Жуана
факир пустынь, снег Эвереста,
ты — жизнь и факт, я — доживанье
себя, чье имя — бред и ересь.

Теперь от вас — воспоминанье,
вас — поминанье:

Лилит столиц, мишень орлана,
ты крылья крови не спросила,
ты — правды знак, я — знак обмана...
Уже ушла... На том спасибо.

За «нет тебя!» — золотая чаша!
Графин и грусть. В свечах бессонниц
листаю пальцем Книгу Часа...
А жизнь жуёт свой хлеб без соли.

ЛАТВИЙСКАЯ БАЛЛАДА

На рассвете, когда просветляется тьма
и снежинками сна золотится туман,
спят цыплята, овцы и люди,
приблизительно в пять васильки расцвели,
из листвы, по тропинке, за травами, шли
красная лошадь и белый пудель.

Это было: петух почему-то молчал,
аист клювом, как маятником, качал,
чуть шумели сады-огороды.
У стрекоз и кузнечиков — вопли, война.
Возносился из воздуха запах вина,
как варенья из черной смороды.

Приблизительно в пять и минут через пять
те, кто спал, перестал почему-либо спать,
у колодцев с ведрами люди.
На копытах коровы. Уже развели
разговор поросята. И все-таки шли
красная лошадь и белый пудель.

И откуда взялись? И вдвоем почему?
Пусть бы шли, как все лошади, по одному.

Ну а пудель откуда?
Это было так странно — ни се и ни то
то, что шли и что их не увидел никто, —
это, может быть, чудо из чуда.

На фруктовых деревьях дышали дрозды,
на овсе опадала роса, как дожди,
сенокосили косами люди.
Самолет — сам летел. Шмель — крылом шевелил.
Козлоноего — бляяло... Шли и ушли
красная лошадь и белый пудель.

День прошел, как все дни в истечении дней,
не короче моих и чужих не длинней.
Много солнца и много неба.
Зазвучал колокольчик: вернулся пастух.
«Кукареку» — прокаркал прекрасный петух.
Ох и овцы у нас! — просят хлеба.

И опять золотилась закатная тьма,
и чайнками сна растворялся туман,
и варили варево люди.
В очагах возгорались из искры огни.
Было грустно и мне: я-то знал, кто они —
красная лошадь и белый пудель.

ХУТОР У ОЗЕРА

Чьи чертежи на столе?
Крестики мух на стекле.
Влажно.
О, океан молока
лунного! Ели в мехах.
Ландыш

пахнет бенгальским огнем.
Озеро — аэродром
уток.
С удочкой в лодке один
чей человеческий сын
удит?

Лисам и ежикам — лес,
гнезда у птицы небес,
нектар
в ульях у пчел в эту тьму,
лишь почему-то ему —
негде.

Некого оповестить,
чтобы его отпустить
с лодки.

Рыбы отводят глаза,
лишь поплавок, как слеза
льется.

В доме у нас чудеса:
чокаются на часах
гири.
Что чудеса и часы,
что человеческий сын
в мире!

Мир не греховен, не свят.
Свиньи молочные спят —
сфинксы.
Тает в хлеву холодок,
телкам в тепле хорошо
спится.

Дремлет в бутылках вино.
Завтра взовьются войной
осы.
Капает в землю зерно
и прорастает земной
осью.

УРОК РИСОВАНИЯ

И начертил я
их, лошадей,
белых четыре
на белом листе.

Хочешь не хочешь —
тебя сотворят.
Тикай потихоньку,
а лошади стоят.

Ни в прошлом и ни в завтра
ни на волосок,
три мордами на запад,
одна на восток.

Обитают люди,
властвуют, свистят,
слезками льются, —
а лошади стоят.

Колесницы-войны,
конюшни-огни,
ипподромы-вопли
совсем не для них.

Страница бумаги —
копыта и степь!
Никто их не поймает,
не посадит на цепь.

Звоночек незабудки,
свистулька соловья,
миллионы — бьются!
А лошади стоят.

О, во всем мире
золота и зла
их, моих, четыре —
девичьи тела,

нежные ноздри. . .
Лошади стоят:
в черные ночи
белые друзья.

Никуда не деться,
не важно уже. . .
Белое детство
моих чертежей!

ЧИТАЯ ЭДГАРА ПО

(Ироническое)

Так хорошо: был стол как стол.
Я не писал. Никто не шел.
Все лучше было, — горе!
Я думал: я и не молюсь.
Тогда-то в комнату мою
ворвался Белый Голубь.

Во мраке муха не взревет.
Звезда саму себя взорвет.
Лишь светлячок-электро-
сверчок! Скорее замечай:
окно открыто — залетай! . .
А залетел вот Этот!

Не с Арарата, не олив
питомец, не того, орлы
которого у Зевса,
не ангел-оборотень, не
который письма. . . Не в вине
на златоблюдце — в зелень.

Я знал Его. Мне красный глаз
в кошмарах грезился не раз,
в раскрыльях — волчий палец.

Он клюв в чернильницу макал,
гримасничая, мне мигал. . .
Я знал Его — Посланец.
Я знал Его. Валяй, ловец!

В конце концов вот и конец.
Ну, Бо-жая коровка!
Не запрокинусь — «Боже мой!»,
хирург души моей живой,
на темени — коронка.

Темнела тьма. И резеда
как пахла! Этот раздвигал
мне ребра клювом-клином.
Я лишь лежал. Немел мой мозг.
Я мог бы встать, но я не мог.
Он каркал, я — не крикнул.

И вот он сердце развязал
и душу взял, а я сказал:
«Что ж, милый, ваша вежа,
душа душой и не бог весть,
вы — птица белая Небес,
а я — сын человека.

Душа? Да что там, забирай,
отбегала моя заря
по листикам от сада. . .»
И. . . душу в лапах (Гамаюн!)
еще дрожащую мою
унес. А я остался.

Так ежедневный день настал.
Никто страницы не листал

мои. Я делал дело:
ушел ко всем, и в тесноте,
в толпе живородящих тел,
я тоже — только тело.

Хожу все луны и все дни
сам по себе и сам двойник
себе. С копытом овна,
с клыками волка. Блею вслед
себе и вою на скале:
один — во время оно!

ЛИЛИИ НОЧЬЮ

Худо им,
лилиям,
хоть и не
холодно,
ходят — по горло — не ходят.
С белыми
лирами
в озере-
омуте
что-то свое хороводят.

Или же
лилии
лишь
забавляются
знаками звезд-невидимок.
Или под
ливнями
в листья
запрячутся, —
белые мышки на льдинках.

Худо им,
лилиям,
хоть и

красавицы,
а танцевать невозможно.
Рыбины
львиные --
шеи
кусают им
и пауки-многоножки.

Ветер, -- и в
плаванье!
Но их
кораблики
на якорях. Но нельзя им!
Солнце! --
но в
пламени
им не
карабкаться, --
в омуте цепью связали.

Ни
путешествия,
пешие
странствия,
ни поднебесье со льдами.
Лишь
утешение:
Лилия
Старшая
в небе и в волнах летает!
ЛУНА!

* * *

Бессолнечные полутени...
В последний раз последний лист
не улетает в понедельник.
Вечерний воздух студенист.

Мы незнакомы. Я не знаю,
ты — творчество какой травы,
какие письменные знаки
и путешествия твои?

И пусть. И знаем все — впустую
учить старательный статут,
что существа лишь существуют
и что растения растут,

что бедный бред — стихотворенья,
что месяц — маска сентября,
что деревянные деревья,
не статуи из серебра,

что сколько сам ни балансируй
в бастилиях своих сомнений,
лес бессловесен и бессилен
и совершенно современен.

И ты, и ты, моя Латона,
протягиваешь в холода
такие теплые ладони. . .
И им, как листьям, улетать. . .

* * *

Все равно — по смеху, по слезам ли.
Все равно — сирена ли, синица...
Не проснуться завтра-послезавтра,
никому на свете не присниться.

* * *

Храни тебя, Земля, мой человек,
мой целый век, ты тоже — он, один,
не опускай своих соленых век,
мой человеческий невольник-сын,

и сам с собою ночью наяву
ни воем и ничем не выдавай,
пусть сыну негде преклонить главу,
очнись и оглянись — на море май,

на море — мир! А миру не до мук
твоих и не до мужества — ничьих.
Сними с гвоздя свой колыбельный лук,
на тетиве струну свою начни!

И знай — опять воспрянет тетива,
стрела свершится, рассекая страх,
коленипреклоненная трава
восстанет, а у роз на деревьях
распустятся, как девичьи, глаза,
а небо — необъятно вновь и вновь,
а нежная распутица-гроза
опять любовью окровавит кровь!

И ласточка, душа твоих тенет,
взовьется, овеяв красный крест,
и ласково прошепчет в тишине:
— Он умер (сам сказал!), а вот — воскрес!

В ГАГРЕ

Ты помнишь третье море тех времен,
то море не без нас и не без неба?
Виднелись волны. Небо лунатизма.
И мы. Но нас не двое, — вдвое дети
в толпах телес, на пляжах отпылавших,
кто с полотенцем, кто в очках чернильных,
сандалии, сомбреро из соломы.
А горы в красных лилиях. Но не
закат. Безлунность. Бледность.
Не плакал — там. . .

Неправда. Нет. Не я.

Уже потом я плакал. (И потом
не плакал! Слезы лишь без слов
имеют титул слез. А слово «слез»
уже не коронованной персоной
в стихах стоит, а так себе, короной
к рифмовке, скажем, «грез».)

Послушай, ты,
дитя второе, женское, ты, греза
тех трех морей, тех трех времен Тебя, —
кто ты?
Ты — суть моей судьбы, святынь и тайнств?
Ты — только тело, что с двумя глазами?

Жива ли ты? А может, эта кожа —
лишь мой папирус, на который знаки
я наносил, выписывая влагой
все волосы твои, живот, колени?
И в ночь на третье море, третье время
тебя любил, а утром — испарилась?
И я один. В испарине стою.
Прости за прозаизм... Но...

Мы стоим
под пальмами (прости за поэтизм).
Павлин пленяет самку. Мерзкий мерк.
Чирикают цикады. Бледность.

Ты
мерещишься мне птицей у плетня
(сталь-санаторий ну и сталь-плетень)
на двух ногах, а на лице — два глаза!
Не бойся. Час у бесов — не сейчас.
Я камень поднимаю, но не кину.
Лети в полет! Там в поднебесье — клетот.
Там — торжество! Там стая. Не отстань!
Там клювами уже клюют кого-то,
тварь живу или мертвечину — мясо!
Лети и ты, чтоб клюв — наперевес!
Лети ты, лепет трех морей и трех
времен! Ты в поднебесье — только точка
моих чернил... Передо мной папирус,
и утром знаки новые на нем,
не знаю, — зазвучат, не зазвучат,
но не твои, ты с теми, там.

А камень
я поднесу к лицу, и он тиктаком
ответит мне (и у него два глаза!),

и я отвечу. Положу потом
подальше.

Пусть сам лежит и сам тихонько дышит,
сам по себе..

СЧИТАЛКА ПРОЩАНЬЯ

Может, наше третье море —
тридцать третье горе.

Но не стоит нам стараться
в тридевятой страсти.

Мир как мир, а мы как в мире
дважды два четыре.

Ничего над нами нету —
лишь седьмое небо!

* * *

В эту осень уста твои
я оставил на них, морях.
А их было по счету — три,
только три, не моя.

Поздравляю твои глаза.
Воздух весел, и кувырком
птиц надмирные голоса. . .
Ты как птица — листком!

Эту осень с устами лиц,
с голосами, с праздником глаз,
поздравляю с плодами птиц
или с листьями ласк!

В эту осень есть всякий плод,
лишь ромашек нет. Не гадай! . .
Третье море белым-бело,
как Великое Никогда.

* * *

Сожгли мосты и основали Рим.
Во всех столицах города-артиста
листались флейты, поцелуи и
калигулы... Потом пришел Аттила.

Сожгли себя и основали рай.
Аукали, как девственники эха!
А розы!.. Музицировали стай
курлыканье!.. Потом явилась Ева.

* * *

Нет грез! Нас не минует ночь сия.
Все в яви! — ты одна и я один.
Так суждено. Ты явишься. И я —
лишь человеческий невольник-сын.

И — ночь! И белокаменная соль
белья, и лампы лед, и голод глаз,
и гибель губ, и хладный лоб... и боль,
что это — в первый и в последний раз.

* * *

Не спрашивай, кто я, — не знаю я,
не бес, не Бог.
Я — просто я в дыханье бытия, —
не свят, не плох.

Что ночь бела — я знаю. Ничего.
Сирень. Балкон.
Цепь львиная на мостике... и вот —
белым-бело!

Прощай! Кто ты — не знаю. Не грусти,
лети листвою!..
Как будто птица плачет на груди,
а не лицо!

* * *

Не любила меня
без льгот.
Обеляла себя,
как боль.
Не любила меня
легко, —
объявляла мне бой!

Амазонка, мой меч —
дарю!
Все вам, хищница,
хохотать.
Время близится
к декабрю, —
ухожу в холода!

Мир в морозах чудес.
Прошу
все отлучки моим
словам.
Возвращенье же — не по плечу
даже, девушка, вам!

ВОРОНА

И красными молекулами глаз
грустны-грустны, взволнованны за нас

вороны в парке (в нем из белых роз
валетики из влаги и волос).

И вот ворона бросилась. И вот
я все стоял. Она схватила в рот

билетик театральный (как душа
у ног моих он был — дышал, дрожал,

использованный). И остался снег.
Спектакля нет. Вороны нет.

ВЕНОК СОНЕТОВ

*(Финский залив, Комарово,
сосны, ноябрь 1973 г.)*

1

Не вернуть мне молодость твою,
как февралю — погасшую траву,
как вьюге моря — факелы наяд.
Так сердце спит. Так я себя травлю.
Ноябрь.

Ноябрь и ночь! Бубенчики, толпа
цыганок сна и лампочка тепла,
луна с крылами — в кружеве морей!
Но ни кровинки в прошлом у тебя
моей.

О жизнь желаний — скрипками цыган,
и блеск берез, и красны кони роз!..
В окне дожди... и дрожь. Я пью стакан.
Не вернуть мне воздуха берез.

2

Не вернуть мне возраста берез.
— Чу! — у окна аукнул Берлиоз,
а может, Моцарт?.. Это ветр-картав...

Так красный конь твой, лишь поводья брось, —
кентавр!

Поводья брось, и схватят за крыла
твою луну. Отметят знаком зла
курлык журавлика и клич дрозда.
Теперь ноябрь расставил зеркала
дождя.

Теперь — лай льва, не соловья слова...
А в прошлых нивах, в празднестве вина
твое лицо кто сколько целовал? ..
Не ревность. Время ноября — война.

3

Не ревность. Ты сама собой — война.
Мой меч — в морях, я — влага валуна,
я испаряюсь, я уже не явь,
лишь сердце дышит о пяти волнах, —
не ямб.

За спесь беспутства собственного — мсти,
что к прошлому тебе не сжечь мосты,
оттуда звук и зов — ноябрь, немей!
Что дождь волос весенних моросит
не мне.

Я осень: Остановка вне тепла,
вне времени, вне мести, вне молвы,
я — ни кровинки в прошлом у тебя.
Сверкай же, сердце! или нет — молчи.

4

Сверкай же, сердце! Или же молчи.
 В окне молочном — лампа и мечты
 о чем? О той черемухе вдвоем,
 сирени празднеств? А потом мечи
 возьмем?

Но невеселье невское! О, ты,
 еще не знаешь этот ор орды,
 как за любовь — болото, улюлюк...
 Один виновен все и один
 люблю.

Но не тебя. Неправда — не себя.
 Я лишь беру струну, как тетиву,
 лишь целит Муза в око серебра
 бессонницы, — так я тебя творю.

5

Не возродить, — и я тебя творю,
 дар девственности — жертва топору,
 Пигмалион — творенье долюбить!
 Твой лоб клеймен, и мсему тавру
 да быть!

Залив звенит! На водопой — такси.
 Корабль в волнах запрятался, — так скиф
 в засаде!.. Вот Кронштадт, как ферзь утрат.
 Моей машинки — пишушей тоски —
 удар! —

и утро! Смолкли клавиши. Лицо
твое — во всю страницу, или звук
лица, мной сотворенного. . . С листвою
деревьев нет. Отдали всю листву.

6

Деревья отпустили всю листву.
Лист в желтых жилках спит себе в лесу,
лист в красных кляксах — в луже, сам не свой.
Деревья без прикрас. Лицом к лицу
со мной.

Ни суеты у них, им нет суда.
Деревьями вот эти существа
лишь мы зовем. И наш глагол весом
лишь нам. . . А как они зовут себя? —
Венцом

творенья? Человек для них — лишь мысль,
по дереву растекается в траву.
И что для них, что с «мысль» рифмуем «мы»,
и что тебе, как я тебя зову?

7

Как ты — меня? . . А я тебя зову,
аук! — а отклик — дождиком в золу.
Так штить безлунья вопрошает шторм.
Так вопрошает муравей зарю. . .
И что?

что солнце — светоносец и свирель,
что море — серебро или сирень,

что небо — не божественно ничуть,
что ты — лишь ты, а я зову «своей»
ничью?

О мания метафор! В леденцах
златых песок. Матрешечный наряд
хвои. А в небе твоего лица
не отыскать, — коварство и. . . ноябрь.

8

Но я
жду вечера, и вечер — вот уже.
Вишневый воздух в птицах виражей.
Мир морю! На луне лицо нуля.
Опять окно в дыханье витражей.

Листок
в своих бумажных лепестках белел,
он в буквах был и на столе болел.
Хозяин — я с бессмысленным лицом
читал чертеж. Хозяин был без дел.

Листок любил хозяина. Часы,
отчаянно тиктакая (о чем?),
произносили буквы, как чтецы.
Я лишь стенографировал отчет.

9

О чем?
Что львице лай, а слава соловью,
что я свечой меж скалами стою,

что лик любви на буквы обречен? ..
Не вернуть мне молодость свою.

Уста

любви я лишь бумаге даровал.
Оброк любви лишь буквами давал.
В твоей я не был, а в своей устал.
Так вечер охладили дерева.

Так сердце спит. Так я себя травлю.
Так в бездне зла в святилища не верь.
Мсти, жено, мне за молодость твою,
за безвозвратность без меня! Но ведь

10

навет? ..

Но ты — не ревность. Потому терпеть
и нам ноябрь. И нянчится в тепле
с балтийской болью (или бьется нерв?).
Мсти, жено, мне, что ты со мной теперь.

Что здесь

под хор хвой сквозит стекла металл,
влюбленных волн в потемках маета,
и мы — не мы! Созвездия чудес!
Шалит волна или шумит мечта?

Мечта машинописи! Купола
романтики! Конь красный! С арфой бард!
Но вот луна распустит два крыла,
а на лице ее — бельмо баллад!

Была
ты только текстом сновиденья. Явь
живую ждать? И жду. И снова я
тебя творю, — о святость, как бедлам,
о ясность, как проклятье или яд!

Одна
в беспутности своей без пут, как брызг
бряцанье! донжуановский карниз!
Твое лицо кто сколько обнимал,
чтоб обменять свободу на каприз?

Я — обменял. Притворствуя и злясь,
ты — жизнь желаний! Старшею судьбой
ты ставшая! Святыня или связь?
Ты отомстила мне за все — собой!

Собор
по камушку разобранный! Орган
по трубочке растасканный! Орда
по косточке разъятая! Свобод
не светит. На лице моем аркан.

И конь
несется в ночь, мерцает красный глаз.
Теперь меня копытом втопчет в грязь.
Так в жизни — жизнь и никаких икон,
отравленная, как светильный газ!

Что ж. Я готов. Я говорю: прощай,
жизнь обезжизненная, так сказать.
И здравствуй, жизнь желаний! Получай
в избытке долю солнца и свинца.

13

Связать
цезурой сердце, обессмертить дух
строфой, зарифмовать дыханье двух,
метафорами молодость спасти?
Но это — аллегии, мой друг!

Ныряй
вот в эту ночь, в мир молний и морей,
в сон осени и дрожь души моей.
Необратима ты! И наш ноябрь
мучительней сонетов и мудрей.

Да будет так. Писатель пишет стих.
Читатель чтит писателя. А нам
в отместку ли за двуединство сих
ночь у окаменелого окна?

14

Она
не очень-то черна... «Мы — чур не мы!»
не бойся! Мы как мы. И чародей,
тот, сотворивший Небо-Океан
для нас, — не даждь очнуться в черноте!

Даждь нам
луну с крылами, древо на камнях,

забрала сна, клич красного коня,
мечи мороза, зеркала дождя,
вращающие волны, как меня!

И — утро! . . Звезды утра — как закат.
Деревьев дрожь. Я рифмой тороплю
последний лист предснежный (листопад!).
Я знаю, что не вернуть твою.

15

Я знаю, что! И в прошлое тропу
не трогая, возмездия теплу
не требуя, а в будущем (но рай
не тратится!) . . . так я тебя таю.

Ноябрь
нарвал
и лавров, и в цикуту опустил,
цепь сердцу! — сам себя оповестил.
Но цепи все расцеплены. Но яд
бездействует, — я осень освятил!

Сверкай же, сердце! Принимай конец
добра, как дар. Зло в сердце замоля,
да будем мы в труде, как ты, венец
сонетов, и тверды, как ты, Земля!

СОДЕРЖАНИЕ

«Кристалл любви, кристалл надежды...»	5
Легенда Ладоги (<i>Четыре фрагмента из поэмы «Хроника Ладоги»</i>)	7
«Художник пробовал перо...»	15
Балтийское утро	16
У моря	18
Отъезд со взморья	21
«Солнце знает свой запад...»	22
«Все прошло. Так тихо на душе...»	23
«Я вас любил. Любовь еще — быть может...»	24
Слеза в лесу	26
Вечер в лесу	28
Бессмертье в тумане	30
Двое	32
Утро	34
Письма тебе (<i>Вариации</i>)	36
Этот эпилог	44
«Я тебя отворю у всех семей, у всех невест...»	46
Муза моя — дочь Мидаса	48
«Обман ли, нет ли — музыка мала...»	50
«Ты, близлежащий, женщина, ты враг...»	52
Ночь о тебе	54
После	56
Латвийская баллада	58
Хутор у озера	60
Урок рисования	62
Читая Эдгара По (<i>Ироническое</i>)	64
Лилии ночью	67
«Бессолнечные полутени...»	69

«Все равно — по смеху, по слезам ли...»	71
«Храни тебя Земля, мой человек...»	72
В Гагре	74
Считалка прощанья	77
«В эту осень уста твои...»	78
«Сожгли мосты и основали Рим...»	79
«Нет грез! Нас не минует ночь сия...»	80
«Не спрашивай, кто я, — не знаю я...»	81
«Не любила меня без льгот...»	82
Ворона	83
Венок сонетов	84

Виктор Александрович Соснора

К Р И С Т А Л Л

Л. О. изд-ва «Советский писатель», 1977, 96 стр.

План выпуска 1977 г. № 179

Редактор Ф. Г. Каца с. Художник Н. И. Васильев.

Худож. редактор М. Е. Новиков. Техн. редактор В. Г. Комм.

Корректор И. Г. Клейнер

ИБ № 652

Сдано в набор 25/II 1977 г. Подписано к печати 19/VII 1977 г.
М 23637. Формат 70×108^{1/32}. Бумага типогр. № 1. Печ. л. 3. Усл.
печ. л. 4,2. Уч.-изд. л. 2,48. Тираж 10 000 экз. Заказ № 298. Цена 30 коп.
Издательство «Советский писатель». Ленинградское отделение,
Ленинград, Невский пр., 28.

Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградская типография
№ 5 Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета
Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной
торговли. 190000, Ленинград, Центр, Красная ул., 1/3.

30 к.

92732/4

50-